

КОНЕЦ МОДЕРНА И СУДЬБА ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ НОВОЕВРОПЕЙСКИХ ПРАКТИК

Сорок лет назад, в 1979 году, Жан-Франсуа Лиотар опубликовал свое, наверное, самое известное сочинение «Состояние постмодерна», в котором описал целый ряд симптомов, свидетельствовавших об эпохальной трансформации европейской (в широком смысле) цивилизации в некий новый исторический и культурный статус. Успех сочинения Лиотара способствовал как широкой популярности самих терминов «постмодерн» и «постмодернизм», так и тому, что констатация завершения эпохи (как бы мы ее ни называли – Новым временем, модерном или как-нибудь еще), в которую сформировался конгломерат превратившихся для нас в нечто само собой разумеющееся научных, художественных, политических, правовых и прочих практик, стала буквально общим местом. Наибольший резонанс «постмодернистский» поворот имел в области художественного творчества, однако, все более очевидно, что его влияние затрагивает сам фундамент целостного новоевропейского мирозерцания.

Фундамент модерна составляет то, что Мишель Фуко назвал *volonté de savoir*, волей к знанию, подразумевающей *volonté de vérité*, волю к истине,¹ как модификацию ницшевской воли к власти. Воля к знанию разворачивается в модерне прежде всего в форме новоевропейской науки, которая сама себя рассматривает как неангажированную добычу знания, как нейтральную дескрипцию «реальности», как природной, так и социальной.² Эта дескрипция предполагает фиксацию независимых от наблюдателя различий, на основании

1 Фуко М. Лекции о Воле к знанию с приложением «Знание Эдипа»: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1970–1971 учебном году / Пер. с фр. А. В. Дьякова. СПб.: Наука, 2016. С. 11.

2 Современное общество, собственно, потому и является «современным», что в нем наука, маргинализовав религию, превратилась в важнейшую социальную практику, с которой так или иначе вынуждены соотноситься все остальные.

которой формируется сеть классификаций и таксономий, охватывающая каждый известный нам сегмент описываемой реальности. В рамках модерна эти различия (к которым относятся и основополагающие дифференции природа/культура, человеческое/нечеловеческое, мужское/женское и т.д.) не проблематизируются в силу «объективности» методических средств их обнаружения. Как представляется, перед физиком и перед социологом стоит одна и та же задача: описание соответствующего объекта (сегмента реальности) с использованием в той же степени нейтрального инструментария.

Эта нейтральная дескрипция противопоставляется нарративным дискурсам (под нарративными здесь понимаются любые дискурсы, прагматика которых выходит за рамки верифицируемых констатаций, и которые поэтому подразумевают определенный перформативный потенциал), в которых «реальность» не описывается, а конструируется. Такими являются художественный или, например, идеологический дискурсы, нейтральность которых не только не гарантирована, но и не обязательна: они служат решению тех или иных персональных и социальных задач, а следовательно, заведомо вовлечены в игру различных сил и интересов. Более того, они представляют собой не артикуляцию методически организованного опыта, а результат «продуктивной способности воображения», порождающей новые объекты и новые причинно-следственные связи (в том числе и новые значимые различия).

Однако нейтральность научных дескрипций, подразумеваемая в качестве базового условия возможности научного дискурса как такового и его отличия от персонально или социально ангажированных нарративов, основывается не столько на «реальности» и «объективности», сколько на идеологически обусловленном императиве, то есть на максиме воли, воли к

власти. За нашим сенсорным опытом, вооруженным самыми изощренными средствами наблюдения, непременно должна крыться неподконтрольная нашим чувствам, разуму и желаниям фактичность, которую мы, ведомые волей к истине, лишь выводим из тени на свет («факты – упрямая вещь», эта фраза, произносимая следователями в плохих детективах, могла бы служить самым адекватным девизом эпохи). Но ретроспективный взгляд на историю науки показывает, что с первых своих шагов, с опытов Галилея и Герики, новоевропейская наука самым решительным и продуктивным образом вторгается в реальность, интерпретируя результаты этой инвазии как доступ к «природе, как она есть сама по себе». По словам Канта, знание превращается в подлинную науку лишь тогда, когда оно само начинает конструировать свой предмет, и это относится не только к математике, но и к эмпирическому естествознанию.³ Решающей предпосылкой формирования новоевропейского естествознания (послужившего моделью для всех прочих научных дискурсов) становится переход от пассивного, «естественного» наблюдения к активному экспериментированию, то есть конструированию определенных сегментов реальности («фабрикации фактов»)⁴ с заранее предусмотренными свойствами и последующей экстраполяции моделируемых в этих сегментах процессов на всю реальность в целом. Тем самым подлежащая исследованию природа оказывается искусственным конструктом, креатурой человеческой рациональности, а открываемые наукой законы природы представляют собой не просто фиксацию каких-либо нейтральных данностей, а в буквальном смысле устанавливаются разумом, опирающимся на свои собственные конструктивные способности. Это означает, что референция объективной

³ *Кант И.* Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосского сверен и отредактирован Ц. Г. Арзаканяном и М. И. Иткиным. М.: Мысль, 1994. С. 16.

⁴ *Латур Б.* Нового Времени не было. Эссе по симметричной антропологии / Пер. с фр. Д. Я. Калугина. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006. С. 77.

дескрипции попадает в зависимость от субъективных конструкций. Этот присущий новоевропейской науке конструктивизм обуславливает перформативный (в той или иной степени) характер научных дискурсов. Мы знаем о строении Солнечной системы, о барионной структуре вещества, о вирусной природе заболеваний из соответствующих научных высказываний, в которых реальность описываемых объектов не только констатируется, но и в известном смысле учреждается (по крайней мере для подавляющего большинства адресатов).

В еще большей степени это относится к социально-гуманитарным дисциплинам: согласно теореме Гёделя о неразрешимости, общество не способно к самоописанию с помощью неких нейтральных и объективных средств и потому прибегает к искусственно генерируемым различиям (индивид/общество, общество/государство, социальное/природное), позволяющим наблюдателю занять внешнюю по отношению к нему позицию. В результате такие самоописания сталкиваются с проблемой тождества системы, или проблемой тавтологии и парадокса: общество либо есть то, что оно есть (из этого исходят консервативные теории), либо оно есть то, что оно не есть (на этом основываются критические теории, ориентированные на социальные изменения).⁵ Таким образом, любая социальная теория де-факто неотличима от идеологии (то есть ангажированного нарратива), ибо отказывается от рефлексии над проблемой тождества и поддерживает фикцию реальных различий.

Дескриптивность оказывается трудноотделимой от нарративной конструктивности и поэтому декларируемая модерном нейтральность

⁵ Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Социо-Логос. Вып. 1 / Сост. и общ. ред. и предисл. В. В. Винокурова, А. Ф. Филиппова. М.: Прогресс, 1991. С. 195.

научных дискурсов становится все более проблематичной, превращаясь в предмет критики философов и методологов науки второй половины XX века от Людвика Флека до Брюно Латура. И именно в этой проблематичности во многом кроется как будущий кризис модерна, так и возможные стратегии его преодоления.

Более того, «нейтральность» фиксируемых наукой различий легитимирует их нормативность, устанавливая сеть дихотомий нормального и патологического, приемлемого и неприемлемого: первое должно культивироваться и воспроизводиться, второе корректироваться, а в крайнем случае экстерминироваться. Знание как совокупность денотативных высказываний, сформулированных методически релевантным образом, в силу самой этой релевантности становится критерием для установления непроблематичных норм, в том числе социальных, правовых и моральных. На фундаменте «нейтральной» научной истины выстраивается универсум различных новоевропейских практик, включающий в себя практически все области человеческого действия: экономику, политику, право, литературу, искусство, средства массовой информации, семейные, межвозрастные и гендерные отношения, даже развлечения и спорт.⁶

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что постмодерн вырастает из последовательного разоблачения мнимости нейтрального статуса дескриптивных дискурсов, в том числе и в первую очередь научного, первоначально разворачивающегося в дискурсивном пространстве самого

⁶ Пример из области политического: в поствестфальском государстве как репрезентанте *volonté generale* модерн видит агента реализации воли к истине, именно поэтому государство обладает монополией на правосудие, то есть на легальную репрессию; если же оно перестает рассматриваться в качестве такого агента и такого репрезентанта (поскольку эрозии подвергается само понятие «общей воли» как основания для политических и правовых решений), эта его монополия делегитимируется, а затем узурпируется заинтересованными социальными группами, которые пользуются ею пусть и не в такой брутальной форме, но достаточно эффективно.

модерна. Согласно Лиотару, «модерн» характеризуется господством «метанарраций», а «постмодерн», напротив, недоверием к ним: «нарративная функция теряет свои функторы».⁷ Но это недоверие как раз и выражается в том, что нарративы воспринимаются именно как нарративы, не претендующие на универсальную нормативность, распространяясь в том числе и на дискурсы, отрицающие свой нарративно-конструктивный характер. К таким криптонаррациям в конечном счете могут быть редуцированы и самые «объективные» на первый взгляд описания. Тем самым дезавуируется базисная и принципиальная для модерна оппозиция дескриптивного и нарративного: нейтральной «истине» противопоставляется многообразие интенциональных нарративов, и это противопоставление потенциально подразумевает субверсию всей устоявшейся социальной догматики, всех прочих оппозиций и дифференций, определяющих привычную конфигурацию современного мира. Истины и данности разоблачаются как социальные конструкты, более того, само понятие «социальный» становится универсальным ключом к объяснению практически любых, в том числе физических и биологических феноменов. Поэтому деструкция этой фикции нейтральности осуществляется посредством производства все новых социальных конструктов, назначение которых состоит в вытеснении и замещении объектов и отношений, с традиционной для модерна точки зрения находившихся по ту сторону общественных дисциплин (характерным примером в этой связи является понятие «гендера»: гендер представляет собой социальную конструкцию, созданную для того, чтобы продемонстрировать тот «факт», что понятие «биологический пол» не

⁷ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 1998. С. 4.

просто имеет социальное измерение, а само есть не что иное, как социальная конструкция).⁸

Снимая различие между фиктивно нейтральной дескрипцией и ангажированным нарративом, постмодерн нарратизирует и социализирует (что означает, по сути, риторизирует) любые дискурсы, тем самым нейтрализуя и десемиотизируя само различие как таковое. Различие более не имеет значения, в том смысле, что отныне не влечет за собой каких-либо серьезных последствий. В конечном счете это должно вести к реформатированию всего репертуара социальных (в максимально широком – «постмодернистском» – смысле) практик. В постсовременном мире борьба и конкуренция за ресурсы – материальные и символические – уже не может вестись на почве какой бы то ни было «объективности», ее акторы лишены доступа к тезаурусу «вечных» или по крайней мере принимаемых за таковые истин. Они должны апеллировать исключительно риторическому и аттрактивному потенциалу используемых ими дискурсов. Индикаторы этого эпохального поворота дают о себе знать в самых различных доменах постсовременного мира, от глобальной экономики и политики до интимных человеческих отношений.

⁸ Впрочем, постепенно выясняется, что «существование общества есть часть проблемы, а не ее решение... Оно больше не может рассматриваться как скрытый источник причинности, который якобы следует привлечь для того, чтобы объяснить существование и устойчивость какого-то другого действия или поведения». (*Латур Б.* Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки / Пер. с англ. О. Столяровой // Социология вещей. Сб. статей / Под ред. В. Вахштайна. М.: Территория будущего, 2006. С. 349.